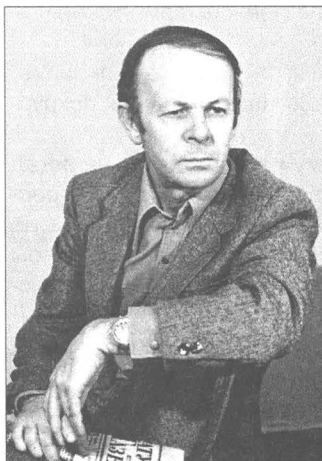


**Владимир
МАЗАЕВ**

**ШОКОЛАДКА,
ПОДПРЫГИВАЮЩАЯ
В СТАКАНЕ**
Повесть-элегия



Я возвращался поездом из очередной командировки.

По специальности был я в те молодые славные времена инженер-наладчик. Поточные линии нашего завода внедрялись на предприятиях легкой промышленности во всех концах страны. Как специалист был у начальства на счету, любопытен, легок на подъём, безотказен, поэтому мотаться и жить вне дома приходилось частенько и подолгу.

По вагонной трансляции объявили город, к которому подъезжали, и я тотчас вышел из купе, стал у окна. Замелькал бесконечный пригород, переезды с очередями машин; длинные, как казармы, ряды частных гаражей, сады и огороды в июньской кипени.

Лет пять-шесть назад мне пришлось бывать в этом сибирском городе. Тогдашний приезд, помню, был связан с работой на фаянсовом заводе, на нем монтировалась наша линия. Линия не шла, капризничала, и командировка моя затянулась...

Я с интересом и слегка волнуясь глядел на поплывшие мимо многоэтажные кварталы, на здания-кубы из стекла и бетона – когда всё это успели нагородить?

Поезд пошёл по насыпи, мелькнул кусочек городской панорамы – курящиеся густо и угрюмо трубы заводов, плавный изгиб реки с песчаным островом посередине, знакомая мне пёстрая горбатая шуба соснового бора над ней.

Тут уж я по-настоящему разволновался...

В наш вагон сели на стоянке несколько пассажиров – три или четыре женщины и мужчина.

Я невольно обратил на мужчину внимание. Высокий и прямой, озабоченное хмурое лицо, азиатский разрез глаз, лет тридцати семи, а то и старше. В одной руке нес чемодан и мягкую хозяйственную сумку, а другой держал крепко за руку мальчика. Мальчишка был крепыш, с крутолобой, давненько уже стриженной головой. Когда они протискивались мимо меня, я заметил на округлом затылке мальчишки два зазорных вихорка. Проще говоря, две макушки.

Или этой «родственной» чертой (у меня самого две макушки), или чем другим – мальчуган этот сразу как-то стал мне симпатичен. Вскоре поезд снова катил, то ныряя в таежные сопки, то вырываясь на простор заболоченных чахлых бережков.

В зеркальную дверь моего купе протиснулась любопытствующая, уже знакомая мне мордашка – новый пассажир совершал ознакомительный обход вагона. Я позвал мальчика, угостил яблоком, и мы стали друзьями.

Через несколько минут заглянул озабоченный отец мальчика, спросил, не мешает ли малыш; я уверил, что нисколько.

Мужчина был смугл, черноволос, а у мальчика и брови, и даже ресницы рыжеваты. И я, чтобы наладить, как говорится, контакт, шутливо заметил – и тут же понял: не очень-то ловко – насчёт этого их внешнего несходства.

Мужчина – ответить бы тоже шуткой? – глянул вдруг растерянно и в то же время вызывающе, привлек мальчишку к себе, к своим коленям, сказал сухо:

– Это мой сын.

Я был откровенно смущён такой неожиданной реакцией. «Какое болезненное самолюбие» — подумал я.

Минуту или две в купе длилось молчание, только беспечно на мальчишечьих зубах похрустывало яблоко.

— Шурик, — сказал мужчина, — ты бы не бегал по вагону, побудь с дядей, а я схожу в вагон-ресторан, куплю тебе поесть чего-нибудь. Вы не возражаете? — вопрос был адресован мне, в нем как бы заключено было прощение за мою бестактную шутку.

Я не возражал, разумеется, и мы с Шуриком остались вдвоем.

На диванной полке валялся иллюстрированный журнал. Шурик полистал его, посмотрел картинки, потом попросил карандаш. Такого не нашлось, я полез в свой дорожный баул, достал коробочку фломастеров. Дома меня ждала дочка трех лет, она была у меня большой любительницей рисовать фломастером. Этот подарок я вёз ей.

На скучной картинке весенней березовой рощи Шура стал сосредоточенно пририсовывать к голым веткам какие-то кругляшки.

— Что? Яблоки выросли? — спросил я.

— Не! — ответил Шура серьезно. — Это на деревьях напухли бочки.

— Набухли почки, — поправил я.

Шура вскинул на меня свои зеленоватые чистые глаза, сказал:

— И говорю же: напухли бочки!

Я решил переменить тему, спросил, сколько ему лет. И он ответил, что пять с половиной.

Что еще можно спросить у малыша? И я спросил:

— А где твоя мама?

— В больнице, — сказал Шура, не отрываясь от рисунка.

— А куда с папой едете?

— К бабушке. Я там буду жить, пока мама не поправится.

— А кто у тебя мама?

— Художница, — сказал Шура.

— Художница? Она что, рисует картины?

— Нет, чашки.

— Чашки? Это как?

— Ну еще тарелочки, — добавил Шура.

Я замолчал. Опущенный затылок мальчика с двумя крупными завитушками склонялся то вправо, то влево и синхронно этому высовывался розовый кончик языка. Работа шла вовсю.

Берёзовая роща уже изнемогала под массой изумительно «напухших бочек». Я осторожно намекнул ему на это. Он возразил:

— А листочков, что ли, бывает мало?

Я подумал и согласился: да, действительно. Наступило молчание.

— Твоя мама работает на фаянсовом заводе? — не унимался я.

— Ага, на заводе.

Я снова умолк. Шура взглянул на меня. Приняв мое молчание за непонятливость, воскликнул:

— Ну, дядя! Вы чай пьете?

— Пью, — сознался я.

— Ну вот, а на чашке нарисовано, это мама нарисовала!

— Ну-ну... — поспешил понять я.

Продолжал гулять по роще неутомимый фломастер. Правда, теперь уже другого цвета — жёлтого. Вмиг вырос частокол ромашек. Под ними возникло нечто пухлое, продолговатое, на четырех ходулках, как если бы на длинную палочку накололи сдобный батон.

— А это? — поинтересовался я.

— Это моя собачка Булька.

— У тебя есть собачка?

— Нет, — сказал твердо Шура. — Я только хочу. — Он наконец оторвался от рисунка, оглядел пристрастно, потрогал фломастеры других, еще не опробованных им цветов, однако места больше не было, он задумался.

День клонился к вечеру. Солнце за окном стремительно летело сквозь хвою придорожных посадок. Было жарко. Щеки у Шуры разрумянились, капельки заблестели на верхней губе, на переносице.

— Давай снимем свитерок, — предложил я.

— Давай! — охотно согласился Шура и протянул мне руки. — А то он чешется!

Сдергивая с мальчика свитерок, я ощутил его плотное крепкое тельце. Теперь он сидел передо мной в белой трогательной маечке, взъерошенный тугим воротом свитерка, весь точно просвеченный сквозь мутноватое стекло закатным солнцем, — живой человек, уже твердо знающий, что листья на деревьях бывают из почек, что у него будет собака по имени Булька и что цветы на чашках, из которых все пьют чай, рисует его мама.

— Шурик, а как зовут твою маму, ты знаешь?

— Маму зовут Аделина Григорьевна, — старательно выговорил тот.

Я медленно отклонился к жесткому пластику диванной стенки. Вынул платок, тщательно вытер лицо, шею. Ослабил галстук. В этих цельно-металлических вагонах вечно не работает вентиляция. Душегубка, а не вагон. И окно не опустишь – заклинено вмертвую.

На столике лежал блок сигарет. Его белые, глянцево-чистые бока привлекли внимание мальчика. Хитренько взглянув в мою сторону, он потянулся к блоку фломастером.

– А вот этим дяди будут недовольны, – занудно-назидательным голосом произнес я.

Шура остановил руку, встревоженно спросил:

– Какие дяди?

– Что едут со мной в купе. Ушли играть в преферанс.

– В префе... в как играть?

– В преферанс.

– Такой игры не знаю. – Шурины рыжеватые бровки озабоченно сдвинулись.

– Ну и слава богу, – пробормотал я, встал и с силой откатил дверь, дышать было нечем. Прежде чем дверь откатилась, я увидел в зеркале себя – в первое мгновение не узнал, мелькнуло – кто? Раздернутый галстук, плотно сжатый рот, волосы прилипли ко лбу, уставившиеся на меня в упор глаза растеряны. Нелепо, но следом подумалось: мы ведь никогда не видим себя, свое лицо в минуты смятенности, горя, гнева, душевного потрясения. Вот почему мы, наверное, так плохо знаем себя...

В проходе гуляла та же зыбкая вагонная дурота. Опершись о дверной косяк, я медленно обернулся.

– Шура, а сколько тебе лет?

– Пять с половиной, сказал! Вы, дядя, уже спрашивали. – Шура явно жалел, что приобрел себе такого туповатого друга.

Мимо по качавшемуся проходу сновали пассажиры, отталкиваясь от стенок и поручня руками. Поезд, выйдя на простор Транссибирской магистрали, несся с бешеной скоростью. За окном взлетали и падали провода. Металлический косяк двери передавал мне свою глухую напряженную дрожь.

В конце вагона показался с охапкой бумажных свертков Шурин папа.

– Шурик! – позвал он, заглянув в наше купе. – Идем к себе, обедать будем. Скажи дяде спасибо.

– Спасибо! – Шурик заелозил попкой, спол-

зая с дивана. Фломастеры сразу же были забыты, а с ними забыт и я – случайный и не очень интересный попутчик.

– Свитерок не забудь!

Мальчик схватил свою одежду и выбежал, неловко ткнувшись об меня голым плечиком. Я остался в купе один.

Сейчас я частенько, особенно в часы одиночества, пытаюсь вернуться в ту далекую теперь поездку, до боли хочу вызвать в памяти нежное ускользающее лицо мальчика, его глаза. Каждый раз при этом во мне что-то обрывается. Точно уходит кусочек жизни. Меня охватывает нечто схожее с душевной паникой. Я чувствую в себе фаталиста, убежденного, что даже непостижимые – наподобие этой встречи – случайности в нашей суетной жизни неким высшим судом строго оговорены...

Перегон оказался на редкость затяжным. Я сидел, отрешенно глядя в окно. Вот уже два часа без устали громыхает наш скорый, змеятся ленты перелесков, взблескивают плоские озерца с кочковатыми радужными берегами; исхлестанные дороги убегают неизвестно куда – в степь, в маревую дымку заката, и остановки как будто не предвидятся.

И вдруг я, цепенея в душе, физически ощутил, как ноет у меня то место на бедре, о которое мальчишка, выбегая, ударился голым мягким плечиком...

Я крепко, до ряби в глазах, потер лицо, горло. Все остальные мои движения принадлежали другому человеку, которого в себе до этой минуты не подозревал. Я вынул баул и побросал в него свои дорожные вещи. Сдернул с шеи галстук, кинул туда же.

Потом взял плащ и ушел в тамбур соседнего вагона. Мне не хотелось встречаться со своими преферансистами, объяснять свой поступок. Да и мог ли я что-то вразумительное объяснить?

На первой же станции я сошёл.

Всю ночь просидел-продремал – то в тесном и душном зале ожидания, то на скамейке у входа в вокзал, склонившись на баул. И ночные часы эти были переполнены обрывками томительных полуснов-полувоспоминаний, моей душевной смятенностью.

В город первым же обратным поездом я вернулся в жаркий полдень.

Выйдя на привокзальную площадь, от кото-

рой тремя лучами расходились главные улицы, я остановился. И подумал при этом: если мальчика решили увезти к бабушке – значит, дело серьезно.

В киоске горсправки я попросил адреса всех крупных больниц. Мне дали два адреса, один из них я сразу выделил в наиболее вероятный. Я взял такси и уже через полчаса стоял перед воротами обширного больничного городка. В мою бытность здесь, помнится, была еще пустынная заболоченная окраина и только велись осушительные работы. Сейчас за невысокой, из дырчатых бетонных плит оградой, обсаженной линией молодых тополей и березок, возвышалось несколько корпусов. Зелень полян пересекалась узенькими асфальтированными дорожками.

В фойе главного корпуса отыскал я окошечко справочной. Белый кафель стен, белые плафоны, белая эмаль мусорниц, бело-матовое стекло служебных перегородок – все это тревожно ослепило, даже несколько придавило меня. Люди, чего-то ожидавшие в низких креслах вдоль стен и стоявшие в очередях к разным службам, разговаривали редко, вполголоса. Лишь телефонный звонок за перегородкой справочной звонил резко и пронзительно, бесцеремонно.

За окошечком с прозрачным оградительным стеклом сидела полненькая девушка со сложной, тщательно продуманной прической. Стараясь быть деловым, лаконичным, я объяснил: ищу человека, который, по моим предположениям, лежит в этой больнице.

– Отделение? – коротко осведомилась «справочная», стойко глядя мимо меня.

– Этого я не знаю, – сказал я.

– С чем положили вашего человека?

Я натянуто улыбнулся: тоже не знаю. Девушка шевельнула нетерпеливо плечом, яркие губки ее вытянулись в скептическую трубочку.

– Фамилия?

– У нее сейчас другая фамилия, она сменила, – заторопился я. – А зовут Аделина Григорьевна.

Девушка в первый раз, кажется, вскинула взгляд, посмотрела на меня внимательно – так, вероятно, смотрит врач на пациента, неумело симулирующего болезнь.

– Да вы что, смеетесь, что ли? У нас полторы тысячи больных. Мы в алфавитном порядке пишем. Узнайте хоть фамилию, потом приходите.

– Зато имя редкое, – вставил я.

– Имя ни при чем... Давно поступила?

– На прошлой неделе, – быстро сказал я, сообразив, что, если еще раз произнесу сакраментальное «не знаю», она просто бросит со мной разговаривать.

– Простите, а кто она вам?

– Очень хорошая знакомая, – сказал я, попытавшись соответствующей интонацией придать характеристике вес и значительность.

Девушка приподняла уже трубку, решив, вероятно, с кем-то посоветоваться, но тут же вернула на место.

– Мужчина, у меня много работы. Вы задерживаете.

– Послушайте, – взмолился я, – неужели, по вашему, очень хорошие знакомые не заслуживают того, чтобы их навестили?

– Отчего же? Но очень хороших знакомых и знать должны хорошо. – И она потрогала ладонью прическу, будто убеждаясь – не нарушилась ли та за время длинного и нудного со мной разговора.

– Логично, – сказал я, вынужденный оценить тонкую язвительность ее замечания. – Но понимаете, мы расстались несколько лет назад, она вышла замуж...

В глазах девушки мелькнула искорка внеслужебного интереса. Да и на моем лице огорчение проступило, должно быть, столь искренне, что она заколебалась.

Тут меня сзади требовательно, грубо хлопнули по плечу:

– Мужик, сколько можно!

– Ну ладно, вот что, – сказала девушка и повернула к себе часики, свободно болтавшиеся у нее на запястье. – Моя смена кончается через пятьдесят минут. Если хотите – подождите, что-нибудь придумаем. А сейчас я в самом деле ничем не могу помочь... Следующий!

Спустя час девушка появилась через служебный вход в глубине, остановилась посреди фойе, ища меня глазами. Я поспешно встал, пошел навстречу.

Девушка была невысокого роста, этакая юная толстушка, но в ходьбе довольно энергичная. Легкий сарафанчик (белый халат она сняла) едва прикрывал колени. Она привела меня в комнату, всю по стенам опоясанную стеллажами, с конторским столом у окна и телефоном. Молча села за стол, меня жестом усадила напротив, взяла карандаш:

– Ну – давайте ваши данные.

– Значит, так. Зовут Аделина Григорьевна,

возраст двадцать девять, профессия художник-декоратор... – На этом я запнулся. – Вот, пожалуй, и все... Да! Вероятное место работы – фаянсовый завод.

– Вероятное, – усмехнулась девушка. – Ну – задачка. Домашний адрес вам тоже, конечно, неизвестен... Попробуем так. Обзвонить санпропускники. Учтите, их у нас целых три. Начнем с третьего, там Лидка Шульгина сегодня дежурит, подруга моя.

Она набрала номер.

– Лида, привет. Это Оля... Нет, Лидок, я по делу. Надо отыскать больную. Поступила в гинекологию в течение этой недели. Да, к вам, я же говорю. Запиши данные. – Оля при этом глянула на меня, вздохнула. Вот, мол, и врать уже приходится, иначе и искать не будут. Потом быстро продиктовала с листка, добавила: – Фамилии нету, в том-то и дело. Лидок, будь умницей, пролистай свои гроссбухи, очень важно... Зато имя редкое! Через сколько звякнуть?... Ну спасибо, ты уж постарайся, ладно? Ну давай!

Следующий номер Оля набирала менее уверенно. Ожидая отзыва, проговорила озабоченно:

– А в первом такие гримзы сидят... Однако «гримзы из первого» восприняли Олину просьбу довольно спокойно, пообещали поискать, отчего полное личико ее засияло, она прощепетала в трубку:

– Благодарю вас, через двадцать минут перезвоню. – Нажала кнопку. – Под настроение попала, не иначе, – объяснила она.

Осечка случилась на последнем, третьем звонке. После того как Оля передала данные, а там что-то ответили, она сказала с вызовом:

– Никто не считает, что вам делать нечего. Вас по-человечески просят, это же исключительный случай... Фамилии нет, зато имя редкое, да... Ну и что, и приду, и сама поищу, если надо будет, подумаешь...

Трубка запищала, как задавленная, и Оля бросила ее на аппарат.

– Заработались, – сказала она, презрительно глядя на аппарат. Обернулась ко мне. – Ладно, может, без них справимся. Может, из этих двух кто найдет. А то придётся туда бежать.

– Я могу и сам, – предложил я.

– Что вы – не допустят. Там еще почище гримзы сидят...

Ну и заварил же я кашу. Думал – это просто. А если ее вообще здесь нет?

Оля с озабоченным видом крутанула на запястье браслет с часиками.

– Вы, наверное, торопитесь, – сказал я.

– На свадьбу приглашена! – Оля засмеялась чему-то и знакомым мне жестом потрогала волосы. – Ничего, успею. Главное – прическа готовая. Вчера вечером соорудила, спать пришлось чуть не сидя, ужас.

Внезапно распахнулась дверь, девчонка в марлевой косыночке с порога затараторила:

– Вот ты где! А я сказала – ушла. А они ругаются на чём свет. Ты запрашивала второй санпропускник? Ну вот, а сидишь тут посиживаешь, любезничаешь. Беги к нашему телефону.

– Чего же они! – Оля вскочила. – Я же обещала сама, вот ненормальные!

Обе выбежали. Я остался сидеть в наступившей тишине, тиская в руках газету с завернутыми в нее несколькими гвоздичками, наугад купленными мной еще там, на привокзальной площади.

Минут через пять Оля вернулась, протянула мне узкий листок бумажки. Я прочитал: «Гумирова Аделина Григорьевна, корпус 7, палата 15».

Я вертел в руках бумажку. Гумирова... Гумирова...

– Она?

Мне показалось, славная толстенная Оля смотрит на меня сочувствующе.

– Да, да, – наконец спохватился я. – Думаю, что она. Большое спасибо, Олечка. Вы очень добры, не теряйте этого качества. Счастливо погулять на свадьбе!

Корпус семь располагался в глубине больничного городка, это была его окраина, тихий шелестящий листвой угол и без того не очень людной территории. Розоватые четырехэтажные здания с большими окнами, несколько служебных построек из белого силикатного кирпича, прогулочные аллеи со скамеечками составляли здесь как бы самостоятельный комплекс. Завеса посадок закрывала нижний этаж и часть второго, а сразу же за корпусом тянулись остатки кочкарника, густо заросшего молодой упрямой гривкой камыша и осоки.

День был пятничный, а в правилах распорядка, который я прочитал при входе, было указано: свидания с больными по воскресеньям. Я пошел к заведующему корпусом, достал свое командировочное, сказал, что проездом, и мне разрешили посетить больную из пятнадцатой палаты. Но только несколько позже, после четырех часов – сейчас самое время процедур.

Была половина третьего. Оставшиеся полтора часа я воспринял даже с некоторым облегчением. Я вдруг с трепетом душевным почувствовал – во мне совсем не осталось решимости... Из меня будто разом вытряхнуло ее –еще в тот момент, когда уловил сочувствие в глазах толстушки Оли, протягивающей мне бумажку. А особенно когда прочитал, подойдя, на черной стекляннной доске название корпуса...

Я вышел на улицу, свернул в кустарниковую аллею. Сел на скамейку из красных реек. Скамью покрасили недавно: краска, капнувшая на песок, блестела еще свежо, точно кровь. Здесь была слабая тень, тёплый ветерок опрокидывал листву, в кустах стрекотала обеспокоенная птица.

Газетный сверток я совсем затискал в потной руке, и он приобрел жалкий, истерзанный вид. Я развернул его. Бутончики цветов сникли, два-три стебля надломлены. Я отбросил их, оставшиеся тщательно завернул снова – ничего, в воде отойдут, отстоятся.

Со стыдом сегодня думаю: какой ерундой была озабочена в те минуты моя голова! Тискал по-гимназически цветы, а сквозь ветви видел торцевую стену корпуса семь, пожарную лестницу посередине, ряд широких окон с откинутыми фрамугами. Толстые шнуры фрамуг свисали, как приспущенные флаги.

...В дни той затянувшейся командировки на фаянсовый завод жил я в доме молодых специалистов, в его гостиничной половине. Здесь же, только в боковой пристройке, располагалось общежитие рабочей молодежи, где жила (занимала «койко-место») Лина. Родом она была с Владимирщины, сюда прибыла после окончания училища художественно-прикладного искусства.

Характер у Лины был живой, общительный. В цехе она тащила кучу нагрузок. Всегда кому-то что-то пробивала, что-то устраивала. Это я знал хорошо, потому что, как только речь заходила о встрече, она тут же начинала лихорадочно вспоминать: свободна ли. Но она была молодцом. Если час оказывался занят, она говорила озабоченно: «Сегодня у меня местком, но я с него через полчаса сбегу. Милый, ты подождешь полчаса? Ну и порядок». Или: «Говоришь, в субботу вечером? Ой, хорошо! В субботу вечером девки день рождения задумали. Я так и скажу: девки, у меня свидание! Это для них святое дело, хоть от чего освободят». Когда я на это начинал фаль-

шиво тянуть: «Ну как же, Линок, если день рождения и тебе хочется...», она смеялась: «Ой, мы в этом году каждый из нас по три раза отметили, перетопчутся».

Росточка Лина была среднего, стройненькая, обувь носила на самом высоком, десять сантиметров, часто щеголяла в джинсах. Но любила и легкие светлые платья. Свои цвета луковой шелухи прямые волосы, когда на работе, закручивала в небрежный узел, в остальное время освобождала, перехватив у затылка костяной пружинкой. Пользовалась тушью, вечером подсинивала веки. Курила сигареты с фильтром. Про косметику говорила так: боевая раскраска. Вдруг остановится, зажмет зеркальце, скажет простодушно: «Ой, погоди, милый, подновлю свою боевую раскраску».

Познакомились мы благодаря ее босоножкам. Прошу прощения, но это так. Именно – благодаря босоножкам, которые она тогда носила.

Я работал на пуске второй очереди. Перед обеденным перерывом меня вызвал главный инженер и попросил сходить к соседям в первый цех. Там в конвейере появились сбои, а ремонтника нет, то ли заболел, то ли запил. Сходить надо было в перерыв, пока конвейер отключен.

Я пересек опустевший цех, прошел в конец линии. Стояли длинные столы – с кистями и красками, с длинной шеренгой вертящихся стульчиков. Рядом – загруженные фаянсовыми толстыми бокалами ручные тележки. Именно на этих беспорядочно заваленных столах заводская продукция получала окончательное оформление. В полном смысле – последний штрих. Отсюда посуда, украшенная цветочками-лепесточками, разными там ягодками и поясками, уходила для обжига в муфельную печь, а оттуда – на склад готовой продукции. Трудилась здесь бригада женщин-художниц. Сейчас стульчики пустовали, но возле каждого стояла пара обуви, – придя на место, женщины переобувались в мягкие без каблуков тапки.

И вот, двигаясь вдоль линии и заглядывая в узлы, я то и дело натякался на эту обувку, отодвигал в сторону.

Какое тут было замечательное собрание мод и фасонов! Туфельки на высоком, туфли на низком (эти, как правило, больших размеров), старенькие побитые танкетки, лакированные лодочки. Но больше всего босоножек – белых, красных, пестренских, с золотыми заклепками. И совер-

шенно простеньких, и с умопомрачительным переплетом ремешков и пряжек.

Внимание мое привлекли босоножки на крутых пробковых платформах – беленькие, изящные, как игрушки. Даже по тому, как они стояли – по-детски трогательно, носок вплотную к носку, а пяточки вразлет, – можно было утверждать: их носит девушка необыкновенных качеств. Я даже приподнял их, подержал в руке. Они были к тому же невесомы.

Опробовав линию, – она везла нормально, – я отошел и остановился в сторонке, вытирая ветошью руки.

Стала собираться бригада. В форменных курточках с закатанными рукавами, в розовых косынках, женщины были малоотличимы друг от друга. Задержавшись возле их столов, я слукавил. Мне вдруг захотелось взглянуть на хозяйку белых пробковых босоножек. Стульчик ее до самого последнего момента оставался пустым. Прибежала она, когда начальник смены уже врубил линию и толстогубые бокалы, важно покачиваясь, поплыли мимо. Она села, схватила с тележки первый бокал, поставила на вертящийся столик – склонилась. Та же форменная с простроченными швами курточка, та же тугая косынка – требование техники безопасности при работе с вращающимися механизмами. Встретил бы на территории – не задержался, пожалуй, взглядом.

Соседка что-то сказала ей, обе при этом оглянулись на меня, засмеялись. Неужели я тарачился так откровенно, что поглупело лицо?

Потом увидел ее в заводской столовой, в очереди, она болтала с подругами, в мочках ушей взблескивали камушки. Заметил на остановке, одним автобусом ехали на смену. Было тесно, нас прижало друг к другу. Я произнес какую-то веселую чепуху насчет пикового автобуса как мощного средства сближения. Она глянула на меня снизу вверх, улыбнулась.

– Ой, это не вы на прошлой неделе чинили нам линию?

– А что, плохо получилось? – Я был польщен ее памятьливостью.

– Да нет, ничего, бегают. Просто вы с тех пор почему-то стали ниже ростом.

– Это, наверное, потому, что вы стоите на моей ноге, – сказал я.

– Ой, правда? А как удобно! Придется вам потерпеть – больше тут некуда.

– Потерплю, немного осталось, – сказал я ве-

ликодушно и сразу же почувствовал сердцем толчок, какой бывает от нечаянной находки.

Пришла она в мою комнату в доме молодых специалистов после нашей субботней прогулки на речной остров.

День выдался жаркий, мы подгорели на солнце, особенно Лина, у нее был открытый купальник. Когда она перекачивалась на живот, горячие песчинки сбегались в золотистый желобок ее спины и я старательно выдувал их оттуда. Она тихо смеялась – «перестань», болтала ногами, ей было щекотно.

На пляже провалялись мы целый день и к вечеру захотели зверски есть. По пути домой заглянули в кафе, мест не было.

В общежитской столовой, куда мы вошли, клубилась духота, пахло подгорелым жиром. После свежести реки сидеть здесь было кощунством. Я вспомнил, что в холодильнике у меня бутылка пива. «Хочу пива», – заявила Лина, одарив меня тем самым тайной надеждой. Мы купили в буфете кулек холодных котлет, два малосольных огурца, пирожков с капустой.

Когда вошли ко мне, Лина, оглядевшись, схватила свою пляжную сумочку, заперлась в ванной, успев проговорить: «Ой, мамочка, хочу охладиться, горю», зашумела душем.

Я постоял у раскрытого холодильника, глядя на позорно сиротливую бутылку пива, поскреб затылок. Конечно, это свинство.

Надо бы что-то предпринять.

Дверь моего номера выходила в общий коридор – система была уныло гостиничная. Выйдя и заперев дверь на ключ, ибо по нашим демократическим порядкам в нее мог сунуть нос всякий, кому не лень, я сбегал в кафе, в которое мы недавно заглядывали, взял бутылку шампанского и плитку шоколада.

Когда я вернулся, Лина, в джинсах и в розовом батничке, уже сидела настороженно на диване, ждала.

– Ага, – сказала она, покосившись на шампанское, – сразу и под замок.

– Только ради сохранности, извини, – сказал я. – Чтoб джигиты не выкрали.

– Я так и поняла, уже кто-то ломился.

– Вот прохиндеи, ну не расстраивайся, они шутили.

Лина вздохнула, оглядываясь:

– Здесь такая слышимость. Дежурная на первом этаже ругается, а как будто под дверью.

— Она и под дверью может, — успокоил я. — Просто к этому надо привыкнуть.

Мы сели за стол, я развинтил на пробке петлю. Лина отломилась от шоколадной плитки кусочек, кинула в стакан. Шоколадка на дне засеребрилась пузырьками и вдруг подпрыгнула, как живая. Опустилась на дно и снова подпрыгнула.

— Занятно, — сказал я. — Да ты опытная женщина.

— Ага, — засмеялась Лина. — И учти — коварная. И люблю шампанское с шоколадом, как ты угадал? За что выпьем?

— За нас с тобой, — сказал я не моргнув. Она пристально посмотрела на меня, пытаюсь прочитывать в моих глазах подтекст, согласилась:

— Годится. Сегодня у меня был чудесный день, спасибо тебе.

— Да, но ты сгорела.

— А я всю дорогу так, — сказала она беспечно, но тоже, кажется, с подтекстом: — Защитного пигмента не хватает!

Мы просидели за столом до сумерек, ели пирожки с холодными котлетами, потихоньку запиная шампанским и заедая огурцом. Лина с увлечением рассказывала про свой город Владимир, про его древности — кремль, Золотые ворота, Дмитриевский собор.

Инициатива разговора всегда была в ее руках. Зажглись за окном светильники.

Сполохи автомобильных огней заполнили комнату тихим серебристым мерцанием, точно далекой светомузыкой.

— А храм Покрова-на-Нерли, — проговорила Лина своим чуть осипшим от купания голосом. — Ты, конечно, видел на картинке, но это совсем не то! Дело даже не в архитектуре, хотя она сама по себе блеск. Вернее, не столько в архитектуре... — Ладонью похлопала по темному столу, ища сигареты, не нашла, продолжала: — Понимаешь, там железнодорожная линия и автобусы доезжают только до нее, дальше пешком. По-моему, специально сделано, чтобы пешком, иначе не воспримешь... — В этот момент в Лине, я почувствовал, проснулся художник. — Представь: переходишь линию, там как раз остановочная платформа, впереди — луг. Луг, луг... Вдали облако зелени, дубы, идешь по лугу, по тропе, километра полтора, не меньше... Идешь, идешь и вот — что-то белое! Восходит над зеленью. Над дубами. Ты идешь, а оно восходит!.. Господи, чудо...

Я уже, честно, не очень вникал в то, что рассказывала Лина и что, казалось мне, безнадеж-

но уводит нас от существенного. Я вдруг обнял ее, она на полуслове умолкла, прикоснувшись к моей руке щекой.

— Ты сама чудо, — с больно ударившим сердцем пробормотал я.

— Ну уж. — Я ощутил ее слабый нежный кивок. Плечи ее даже сквозь ткань батничка были горячи.

— Не болят?

— Немножко, — шепнула она, — но все равно теперь облезу — кошмар. Я думаю, — добавила она озбоченным тоном, — не пора ли зажечь свет, а то сигареты куда-то сгубили.

Я наклонился к ней, нашёл губами теплую ямку под ухом, поцеловал.

— Пора, — сказал я разочарованно, встал и послушно щелкнул выключателем, хотя — признаюсь теперь — с самого пляжа, с безобидного выдувания песчинок из желобка ее спины, всё во мне затосковало от желания ее тела.

Лина защурилась в резком свете, заморгала. Потом глянула в зеркало, встревожилась: пятна от солнечных ожогов стали отчетливее, расплылись по щекам и лбу.

— Фу, как ошпаренная кошка! — воскликнула она. — Нет, выключи, пожалуйста...

И потом, уже сидя на краешке кровати, белея двумя незагорелыми полосками, проговорила жалобно-умоляюще:

— Не надо бы, не теперь... Ведь завтра мы в глаза друг другу не поглядим...

Но это была минута, когда в словах уже нет никакого смысла.

Она стала бывать у меня.

Эти первые дни! Сладость ночных стыдных разговоров, вполслова, вполфразы, одним дыханием. Сон и бодрствование вперемешку. То знобкие, то жаркие комнатные сумерки, головокружительные паузы. Минуты, когда закрепляются тончайшие душевные связи. Минуты, когда они рвутся. Когда они рвутся...

Увидев на полочке среди прочих книг томик Горького, Лина заявила:

— Не люблю. Нет, не за произведения. А что сказал: жалость, мол, унижает. И все поверили. А это неправда.

— Что неправда?

— А то. Если человек жалеет другого, он никогда не сделает подлости. И вообще...

— Это он для того времени сказал, для дореволюционного, — попытался я примирить Лину с классиком пролетарской литературы.

– Нет, – возразила Лина тоном первой ученицы, отвечающей у доски. – Писатель пишет для того времени, в которое его читают. Мне так вот всех жалко.

– И меня? – пошутил я.

– Тебя?.. – Она, голенькая, крутанулась в моих руках, встала на колени, склонилась всматриваясь. – Тебя, милый, еще не за что!

Волосы ее посыпались мне на лицо. Я слегка поперхнулся ими, нащупал теплый овал ее плеча. Ладонь моя заскользила, и чуть выше правого соска ощутил под нежной кожей тугой, холодно перекатывающийся комочек. И тут же почувствовал: Лина, стоя надо мной на коленях, вся напряглась.

– Что это у тебя?

– Где?

– Да вот... Ну-ка наклонись ближе.

– погоди, милый. Курить ужасно хочется. Она соскочила на пол, ушлепала на диванчик, села там в уголок, подобрав ноги. Стрельнула зажигалка, затлеп глазок сигареты. – Лина не умела курить лежа.

Вернулась вскоре, прижалась ко мне всем своим гладким прохладным телом, задышала в самое ухо:

– У тебя много было... нет, сперва отвернись, я ужасно бессовестная, наглая.... Много было до меня?

– Ну ты даешь... – Я аж закричал в душе от такого поворота. Если скажу – никого – не поверит и будет права. А если скажу: много – ей будет неприятно, да и мне тоже.

И я воскликнул:

– Ленок, да пошли они все на фиг!

Лина вздохнула:

– Дипломат... А вот я признаюсь: у меня был всего один друг. Фактически он был мне мужем, расписаться только не успели.

– Что же помешало? – Я почувствовал с удивлением, что уязвлен. «Муж» в ее устах прозвучало для меня как скребок ножа по оконному стеклу.

Лина рассмеялась неожиданно, откатившись от меня. Я взглянул на нее: над чем это она?

– Я-то думала, почему он все время дрожит? Представляешь, через сколько-то узнала – ему нету еще семнадцати! В школе механизаторов учился, рослый такой парнишка, а я только в училище поступила. Заявляется вдруг его папашка из деревни – тоже механизатор, ручищи во! – и прямо на глазах нашей квартирной хозяй-

ки (я-то на занятиях была) – ремнем его! Выдрал! Представляешь, какой оголтелый садизм. И увез домой.

– Таким образом, деревня лишилась молодого специалиста, а ты овдовела, – подытожил я.

Лина вдруг обиделась.

– Ничего смешного, – сказала она, хотя сама только что смеялась. – Типичный сельский домострой.

Я привлек ее к себе, прикоснулся губами повыше правой груди.

– И все же, Ленок, – что это?

– Да ничего особенного, вот пристал!.. Врачи говорят: затвердение ткани.

– И больше ничего?

– Говорят: если хочешь, можем удалить, а то живи так.

– Ну а ты?

– Решила жить так.

– Ты говоришь мне правду?

– Я всегда говорю тебе правду.

Лина поначалу, казалось мне, вела себя не совсем последовательно. То я не мог уговорить ее зайти хоть на пару минут, а то появлялась внезапно сама, с пакетом в руке; коротко поцеловав меня, небрежно говорила отходя:

– Хочу сегодня остаться, не возражаешь? Только чур – лягу на диванчике, ага? Но сперва позволь нырнуть в твою ванну – у нас в душевой не пропихнешься.

Выйдя из ванной, в халатике, с обмотанной полотенцем головой, порозовевшая, бросала недовольно:

– Ну вот, смыла всю боевую раскраску, теперь не смотри на меня, пока не обсохну и не обновлю, ага? – Садилась в угол диванчика, доставала из пакета книжку, принималась сосредоточенно читать. Однако хватало ее ненадолго. Захлопнув книгу, требовала: – Подойди ко мне. – И глаза у нее при этом были зеленее обычного, чуть испуганные от собственной решимости. Я подходил, садился. Она обхватывала мою голову ладонями, еще влажными от ванны. – Он в самом деле не смотрит, хоть не говори ему ничего! – Полотенце с нее при этом сваливалось и шумно падало на пол книга.

В довершение всего под халатиком ничего не оказывалось...

Где-то вычитал выражение «неистовство страсти» и посчитал, помню, его плодом писа-

тельского ума – не более. Зря посчитал. Лина являла именно такую страсть, бурную, всепоглощающую. Вроде лесного пожара...

В эти моменты она казалась мне подозрительно искушенной, изобретательной, с бьющей фонтаном инициативой, а выпоротый отцовским ремнем ее малолетний муж, «единственный ее мужчина» – выдумкой веселых и находчивых. Но стоило зазвучать в коридоре чьим-то шагам, Лина – даже в интимнейшие минуты! – мгновенно остывала – вся сжималась, цепенела.

– Нет уж, нет уж! – хныкала по-детски она, скользнув по мне, когда шаги затихали удаляясь. – Тут разве привыкнешь, когда идут прямо к тебе в постель...

Полуавтоматическая линия второй очереди, на которой мы топтались вот уже четыре месяца, давала сбои. Сроки поджимали. Все чаще приходилось оставаться сверхурочно. А сентябрь – срок пуска линии – был уже рядом. Случилось так, что мы несколько дней не виделись. Сегодня же высвечивалась такая возможность.

В обеденный перерыв я побежал в первый цех. Длинный прилавок рисовальщиц пустовал. Я черкнул записку. Она начиналась так: «Шоколадка-Подпрыгивающая-в-Стакане, жду тебя вечером, как всегда...».

Около рабочего места Лины стояла тележка, на ней в этот раз теснились молочно-белые, готовые для росписи вазы. Я бросил записку в одну из ваз.

Вечером, встретившись, мы прогулялись по набережной, потом перешли мост, по круглой металлической лестнице-трапу поднялись в бор. Запыхавшись, остановились под соснами, оглянулись на город. Река внизу, отражая закат, была гладкой и выпуклой, точно ее надули розовым дымом. Шум транспорта, потоком идущего по мосту, долетал сюда приглушенным ворчанием. Промышленная гарь висела над растянувшимися до горизонта городскими строениями, расплываясь в сиреневые прозрачные ленты.

Лина зацепилась ладонью о мое плечо, склонила голову.

– Знаешь, милый, если ты будешь и впредь передавать таким способом записки, моя производительность ужасно возрастет.

– Это почему же?

– Ну как же! Я буду вынуждена расписывать как можно больше посуды. Чтобы скорее найти записку!

– Я об этом не подумал, – заметил я. – Надо будет оформить в качестве рацпредложения.

Лина рассмеялась. Она была в легком осеннем пальтишке в крупную клетку, щеки от ходьбы в гору зарделись, на шее пульсировала жилка.

– Люблю тебя, – сказал я.

– Нет, это я люблю, – возразила она.

Такой у нас с ней придумался веселый диалог, вроде игры.

В глубине бора, в его зеленоватом сумраке светилась огнями открытая веранда ресторана «Лето». Ворковала радиомузыка, несколько пар качались, как сомнамбулы, в задумчивом старомодном танце. Издалека было видно: есть свободные столики.

– Зайдем?

Мы заняли столик у самого барьера. В более чем скромном меню шампанского не было. Я попросил бутылку «Буратино» и пару салатов.

Лина сидела напротив, полуобернувшись в зал. Дощатый пол шевелился под ногами танцующих, шевелились тонконогие стулья, на которых мы сидели. На Лине был вязаный пестрый жилет поверх алого батничка, волосы гладко забраны под пружинку. Глаза ее блестели. С куста рябины, росшей рядом с верандой, слетел оранжевый листок, спланировал на стол. Лина взяла его: не отводя взгляда от танцующих, прикусила влажными зубами. В груди у меня больно перекачилось: прекрасная моя женщина...

Официантка принесла заказ. Лина мелкими глотками выпила стакан, взялась за салат. Ковырнув вилкой, отодвинула тарелку.

– Что, не понравилось? – спросил я.

– Ага.

– Ага в смысле нет? – уточнил я.

– Ага, – она слабо улыбнулась.

– Попросим что-нибудь другое?

На лицо ее, еще минуту назад такое чистое и умиротворенное, набежала тень. Между бровей легла складочка.

– Знаешь что, уйдем отсюда.

– Да мы только сели!

– Ну и что.

– А может, посидим еще, потанцуем?

Она встала, пошла с веранды. Перепады ее настроения были мгновенны, почти неуловимы.

Под ресторанным крыльцом на бетонном обломке сидела объемистая тетка. Перед ней цинковое ведро с белыми и сиреневыми цветами, похожими на астрочки. Спускаясь по ступенькам,

я приобнял Лину, мы остановились перед цинковым ведром.

– Почем цветы?

– Рублик штучка, молодые люди. Берите, не пожалеете. Выбирайте, какие на вас глядят.

– Выбирай, – предложил я Лине, – какие на тебя глядят. – Настроение ее, я видел, хуже некуда. И я посчитал, букетик в руках ей сейчас не помешает.

Она помедлила, вид свежих цветов согнал с переносья морщинку. Наклонившись, выдернула из ведра одну по одной девять астрочек, поднесла к лицу.

Я протянул цветочнице десятку. Толстые губы ее поплыли.

– Дак недодано, молодой человек.

Я удивился.

– Как же? Девять штук по рублю, считайте.

– Дак нет. Которые девушка ваша взяла – эти по полтора.

Меня почему-то задела эта ее мелкая запоздалая жадность.

– Вы же сами сказали – по рублю.

– Дак это – вон те, которые помельче, – уперлась неожиданно тетка. – А которые ваша девушка выбрала – те по полтора.

Лина нервно перебирала в пальцах влажные стебли.

– Да отдай ей, сколько просит, пойдем.

– Нет, подожди. – Я снова повернулся к торговке. – Где помельче, покажите. Все одинаковые.

– Раз ваша девушка выбрала, значит, не одинаковые, аи, молодой человек! – пропела тетка.

Я растерянно замолчал. Перед наглостью я всегда теряюсь. А тут вообще отупел. Коммерция коммерцией – но зачем наглеть?

Лина, вместо того чтобы поддержать меня, кинула в ведро цветы, быстро пошла по дорожке. Я догнал, взял за локоть: ну чего ты? Она оглянулась на меня, отдернула локоть, в глазах блестели слезы!

– Я... я держу цветы... – голос ее срывался, – держу... а ты... торгуешься.

Я оторопел: час от часу...

– Да дело разве в этом? Ты видела ее наглость?

– Я держала цветы. Как ты не можешь понять?..

Я промолчал: я действительно не мог понять. Бог с ней, с этой теткой и ее копеечной жадностью. Лина права. Не морковку же покупаем! Но с

другой стороны – «ваша девушка, ваша девушка!»! Расчет старой тумбы, что молодой человек постесняется мелочиться...

Так, в полном молчании, мы спустились по гулкой лестнице на берег, перешли мост. Запоздалый глассер промчался под мостом, и опрокинутые огни в темной воде полетели вслед, запрыгали, точно искры раздутого ветром костра.

Взошли на набережную – людную в этот час, разноголосую. Она была бело освещена. Светильники на тонких изогнутых мачтах нависали, как кобры. В саду, примыкавшему к набережной, мягко синкопировал эстрадный оркестр. Я прислушался. Не сильный, но с чувством голос певицы доносил:

Унижаться, любя, не хочу и не буду,

Я забуду тебя, я тебя позабуду.

Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь.

Только как я уйду, если ты не уходишь...

Мы смешались с толпой гуляющих. Это была по преимуществу молодежь зеленая, подростки. Взрослые ходили парами. В живом, праздном и хаотичном движении идти в одиночку неуютно. Лина взяла меня под руку.

– Не злись, – сказала она, заглядывая мне в лицо. – Я же дура, женщина. Не надо обращать на меня внимания. Не сердись?

Когда женщина расстраивается по пустякам, значит, причина достаточно серьезна, подумал я, а сказал:

– У тебя боевая раскраска не в порядке.

– Ой, правда? Давай присядем, вон на скамье свободно.

Мы свернули с набережной, сели. Лина вынула зеркальце, платочек, занялась собой. Закончив с глазами и застегнув сумочку, спросила как бы между прочим:

– Кстати, когда отбываешь?

Вот оно. Ждал этого вопроса, был, казалось, готов к нему, но все равно заюлил отчего-то, забегал глазами.

– Линия уже практически сдана, – промямлил я, – остались одни недоделки... На неделю, может, две...

Проводил я Лину до дверей общежития. Нет, подумал я с легкой досадой, с этим надо завязывать. Сцену закатила – прямо жена.

На следующее утро в дверь ко мне громыхнула кулаком дежурная и крикнула злобно, что

меня – к телефону (услуга эта у наших дежурных не была в чести). Я спустился вниз, взял со стола трубку.

– Милый, сделай скорбное лицо, – сказала Лина, – у тебя умерла любимая тетька...

– Что? Что? – не понял я.

– Ага, иначе бы дежурная разве позвала? А теперь слушай. У одной знакомой дача пустует. Есть возможность взять ключи и провести выходные на лоне. Если, конечно, тебя не задушат твои сверхурочные. Но решать надо, – добавила она, – сию минуту, знакомая уезжает, потому и звоню в пожарном порядке.

– Когда похороны? – я покосился на сидящую рядом дежурную.

– Говорю же – в воскресенье! – весело закричала Лина, так что я вынужден был крепче прижать к уху трубку. – Электричка уходит в субботу, в семь вечера.

– Я постараюсь быть, не плачь, – произнес я скорбным голосом. – Тетька бы не одобрила этого.

– Целую тебя! – засмеялась Лина, и тотчас же раздалась короткая гудка отбоя. Я бережно положил трубку на аппарат, будто это была не трубка, а цветы на могилу моей любимой, но не существующей тети.

Езды на электричке – минут сорок. Справа потянулся монотонный блеск речной глади, слева – то и дело обрушивались грохотанье и сумрак подступающих к насыпи скал, заросших увядающей тайгой, – мелькнёт яркая, как снопы пламени, листва осин, проплывёт сгорбленный, в тяжёлой сентябрьской зелени кедр. Весёлые, колоритные места и совсем рядом, о чем я и представления не имел, живя в этом задымлённом, громыхающем мегаполисе.

Дача оказалась крестьянским домом среди деревни. Причём деревни довольно обширной. Три или четыре порядка домов, сбиваясь и перемешиваясь, толпились вдоль протоки. Но коренных жителей в ней почти не оставалось. Жили главным образом горожане-дачники, пенсионеры, да и то лишь от весны до осени.

Все это рассказала Лина, пока мы шли от станции по тропинке среди редкого, пронзительно желтеющего под закатным солнцем березняка.

Дом был старый, приземистый, с крышей, темной от мха, с голубыми ставнями и застекленной верандой – явно уже дачного происхождения. Зато была масса разноцветья – багрянца

черемухи, желтизны берез и рябин, стойкой зелени смородинника и хмеля. Все это росло весело и хаотично, топорщилось, вздымалось там и сям непролазными куртинами, свисало с антенной рогульки.

Слева и справа в ряду стояли дома-дачи, тоже густо задернувшиеся от улицы завесой палисадов, – трудно было при беглом взгляде отличить один дом от другого. Дорвавшиеся до земли пенсионеры-урбанисты будто взяли обязательство не оставить свободного клочка.

На веранде от охапок укропа, веников из каких-то целебных трав пахло остывшей баней. Громоздилось вдоль стен банки, ведра, огородный инструмент. Мы вошли в дом. За плотно прикрытыми ставнями темно, глухо. Лина нашла керосиновую лампу со стеклом, ее золотистый непривычный свет медленно разлился по дому.

Посреди избы высилась печь, а за ней в дальнем углу – застеленная лоскутным одеялом деревянная кровать с резными спинками. Их украшали фигуры, похожие на кегли. Взоры наши невольно задержались на этом монументальном сооружении, рассчитанном не на одно супружеское поколение.

Лина отвела взгляд. Я засмеялся, привлек ее к себе.

– Люблю тебя, – сказал я, на что она довольно нелогично, как показалось, произнесла:

– Ого, смотри, дров-то! Давай растопим печь!

Через пять минут по-крестьянски приземистая печь утробно гудела; зайчики огня заплясали на широких бородавчатых половицах. Я сходил по воду, поставил чайник. Пока мы раскладывали наши скудные вещи, выгружали на стол продукты, занимались мелкими, но приятными делами благоустройства предстоящего уединенного ночлега – затрясся жизнерадостно чайник.

Стало тепло и уютно, накатило ощущение обретенного покоя, точно мы с Линой вернулись в свой собственный, уже позабытый дом и нашли его в полном порядке.

Сквозь ставни не доносилось ни звука. Да и откуда им взяться, если большинство дач уже пустовало и, когда мы проходили вечерней улицей, было безлюдно, лишь где-то жалобно побрехивала собака да на протоке постукивал заблудившийся мотор браконьера. А сейчас и вообще ночь.

Постель сперва была холодна, неудобна. Мы

быстро, темпераментно нагрели ее – при этом так сплелись, что Лина под конец спросила со смехом: господи, а это чья нога?..

Комнату трепетно и романтично подсвечивал печной огонь. Мы наслаждались тишиной, дровяным горьковатым теплом и абсолютным уединением. Ни злобного голоса дежурной за тонкими дверями, ни беспрестанного угрожающего шестивия шагов «прямо к тебе в постель».

А что, подумал я, пресыщенно покосившись на Лину, почему бы, черт возьми, нам не иметь собственного дома? Как говаривали в старину: очага? Я бы ловил неводом рыбу, а Лина бы пряла свою пряжу. Пора, пора причаливать к семейному берегу. Привыкать к преимуществам постоянства и отвыкать от преимуществ случайных встреч. Меня тянет к ней, с ней мне легко, покойно, и, когда я обнимаю ее, жаркую, сладостно-податливую, неутомимую, я готов поверить во что угодно. Даже в существование такой химерической штуки, как душевное родство...

И в этот самый момент раздался грохот, мы оба подскочили. Грохотало со стороны веранды. В первое мгновение я ничего не мог сообразить, лежал обалделый. Потом дошло: кто-то садит кулаком в дверь, и веранда гудит, как адский резонатор.

– Хозяива! – раздался хриплый голос.

– Ой, мы же, кажется, не заперлись! – пискнула Лина и панически потащила на себя одеяло.

Я стал лихорадочно одеваться – совершенно не мог понять, кого тут в такую пору могло принести? Вот тебе тишина и безлюдье, вот тебе и абсолютное уединение!

– Эй, хозяива! – Человек был уже на веранде, звякнули банки, покатилося опрокинутое ведро, он ругнулся. – Есть тут кто живой?

Я выскочил босой на веранду, держа перед собой лампу.

Шаря по стенке руками, осыпая веники, стоял маленького роста мужичонка в толстом ватнике, облепленном репьями, и шапке-ушанке. Через плечо перекинута ружье-одностволка. Свет лампы ослепил его, он заморгал, заморщился носом-пуговкой, вглядываясь в меня настороженно.

– В чем дело? – довольно недружелюбно спросил я, подумав при этом: такой мелкий, а столько шума. – Чего орешь? Заблудился?

Мужичонка отступил к середине веранды, припадая на левую ногу, и схватился обеими ру-

ками за скрученный сыромятный ремень своей берданы, пытаюсь, должно быть, таким маневром сохранить устойчивость.

– Сторож я здесь, – сипло сказал он моргая, и я сразу понял: поздний гость в некотором податии. – Обхожу, вижу – печь, искры. А хозяива давно съехали. Как так? Обязан проверить, кто такие, чего тут смекают. Рази хозяин будешь? – спросил он, и по ухмылке на заросшем щетиной личике было ясно: он знает хозяев дачи, поэтому хитрить не стоит.

– Не совсем, – ответил я. – Но мы с их разрешения.

– Аха... так-так... гхм, – закивал согласно сторож. – И с кем тут?

– С женой, – сказал я. – Она уже спит.

– Ну да... аха, спит. Ладно, – как бы милостиво разрешил он и переступил валенками в растоптанных потрескавшихся галошах. По всему, вопрос был исчерпан, и бдительному стражу можно продолжать обход, однако он не торопился. Босые ноги мои на холодном полу веранды уже окоченели. Я ждал.

– А как фамилие? – спросил вдруг он, и безгубый, в колючках рот его подозрительно напрягся.

– Моя, что ли?

– Ну да – хозяивов!

– Ты что же, не веришь? – уже не злясь, а удивляясь служебному рвению дачного сторожа, спросил я.

– Верю – не верю, а проверить обязан. Всякой бомжи развелось.

– Фамилию знает жена, – сказал я. – Не будить же человека из-за этого. Давай отложим до утра, там разберёмся. И – у меня ноги окоченели.

Мужичонка опустил наконец ремень, обеими руками покрутил шапку, точно привинчивая ее к голове.

– Ночи теперя крутые, – согласился он и сухо шмыгнул пуговкой. – Работа окаянная, собачья – на морозном ветру, на холоду...

Ах, вон в чем дело! – дошло до меня. Я быстро вернулся в избу, взял со стола бутылку и первый попавшийся стакан. Не забыл сунуть на ходу ноги в туфли.

Лина шевельнулась под одеялом, спросила шепотом:

– Кто?

– Сторож это, я с ним потолкую.

На веранде стояла заваленная травой низенькая раскоряченная скамейка.

– У меня только сухое, а ты, наверное, крепкое уважаешь.

Я разгреб на скамейке место. Мужичонка скособочился на бутылку, которую я вопросительно держал в руке, вздернул за плечом берданку, торопливо бормотнул:

– Ладно... это... сойдёт. Плескни!

Стоя пить он не захотел. Присел на скамейку, сказал: «Максимом меня зовут, со знакомством, значица», – хыкнул и не спеша, с достоинством, стал опрокидывать стакан. На дне забегало несколько чаинок, он лишь на секунду приостановился, и тут же чайники с последними каплями резво исчезли у него во рту.

Промокнув рот кулаком, поставил стакан рядом с бутылкой, в которой еще оставалось, сипло выдохнул:

– А сам чего жа?

Я покачал головой: не хочу.

– Нету нынче тех крепостей, – проговорил Максим глубокомысленно, вытягивая из кармана ватника сплюснутую пачку «Прибоя». Видать по всему, уйти от недопитой бутылки он не мог, не тот принцип.

Я вылил остатки в стакан, тем самым поощрил Максима к дальнейшим действиям. Он сразу же выпил, оттолкнулся от скамьи, решительно встал на ноги. И тут случилось непредвиденное. Он стал заваливаться, падать в сторону, да странно как-то – не подгибая ног, солдатиком. Я едва успел подхватить его, поддержать. Крякнув, он вздернул ружейный ремень, шагнул и снова стал падать – в ту же сторону. На этот раз я не успел, и Максим всем телом хряснулся о стенку, загудела веранда.

Берданка, соскользнув, щелкнула прикладом по банке. Банка со звяком рассыпалась.

Я помог подняться ему, он, тупо глядя вперед, утвердился на ногах, шагнул два-три раза – и пошёл стремительно клониться боком.

Я был поражён: когда он, в пять минут, успел так мертвую опьянеть? И от чего? От полутора стаканов «не тех крепостей».

Но я понял другое. При любой разгадке этого феномена идти самостоятельно он явно не способен.

Я задул в лампе огонь, вывел Максима за калитку.

Небо слегка отсвечивало, и на фоне его тускло рисовались вершины деревьев да куцые обрезы крыш. Ниже – всё лежало в глухой вязкой мгле.

Я потряс Максима.

– Где ты живешь?

Он махнул рукой: там. При этом сильно покачнулся, с него свалилась шапка. Я присел, пошарил вокруг по земле – нету, куда-то откатилась.

– Ладно, – потеряв терпение, сказал я, – утром отыщется, пошли. – Мне это стало изрядно надоедать.

Взяв в одну руку берданку, подхватил его другой поперек живота и почти понес. Дом Максима оказался не так далеко, но я, несмотря на ночную свежесть, крепко взопрел. Левая нога у него совсем уж не шагала, волоклась, как неживая, даже странно.

Я протащил его в калитку, которую он мне указал, посадил на ступеньку крыльца, прислонил рядом его боевое оружие.

– Ну всё, здесь сам докарабкаешься. А не то выидет твоя старушка и накостыляет мне шею.

Максим легко, охотно отцепился от меня, в темноте личико его совсем округлилось в тыковку; он гулко хлопнул ладонью по колену вытянутой ноги и вдруг просипел почти трезвым голосом:

– Эт-то я думаю, чего валюшь. Эт-то у меня, оказывается, протез-курва отстегнулся...

Обратно я шел быстро, почти бежал. Куртины палисадников слева и справа вздымались чёрными недвижимыми облаками. Ни огонька, ни звука. Вот и наш просвет. Спит ли уже Лина или ждет, недоумевая и тревожась: куда я запропастился? Волна нежности, какой я, кажется, никогда в себе не обнаруживал, омыла сердце: скорей, скорей! Я протянул руку к калитке – и сразу почувствовал неладное. Наша закрывалась деревянной скрипучей вертушкой, здесь же был какой-то проволочный крючок.

А чёрт, досада. Я вернулся на порог. Ничего, сейчас сообразим. Ага, кажется, не дошел малость – следующий. Но у следующего двора калитки совсем не оказалось. Коридор из белого штaketника привел меня напрямиком к двери чужих незнакомых сеней. Я снова вышел на середину улицы.

Глаза мои присмотрелись к мраку и различали уже кое-какие предметы: водосливную бочку, скворечник над глыбой сеновала, врытый на углу двора рельс – ограждение лихому трактористу, – телеграфный столб с перекладиной. Ни один из этих предметов мне ничего не говорил: я их просто не помнил.

Наваждение какое-то, мистика, шальной сдвиг моей зрительной памяти! Я же абсолютно точно знал: дом, куда я стремлюсь, совсем недалеко, рядом. Может быть, вон та чёрная масса – он и есть. Но стоило приблизиться, и я убеждался – нет, не то. Раза два вламывался в какие-то кусты, расцарапал щеку. Неужели, когда тащил Максима, проглядел поворот и выверся на соседний порядок? Где теперь этот поворот?

Лина там совсем в панике. Еще бы: ушел в ночь – и с концом. А она одна и рядом пустые заколоченные дома, и даже собаки не гавкают, вывезенные в город или брошенные тут и молчаливо озлобившиеся. Как я жалел, что выходя задул на веранде лампу!

Возле дороги затемнело – колодина, камень ли? Я решил присесть. Оказалось – вкопанная торчком автомобильная крышка. Я сел, уткнулся лицом в колени. В более глупом и беспомощном положении бывать, кажется, не приходилось.

Одет я был сверхлегко – куртка на голое тело, туфли на босу ногу. А ночь с высоким, тускло серебриющимся небом так и оплескивает льдом. Я уже приготовил себя к позору. То есть, думаю, вернусь к этому алкашу, заставлю его пристегнуть ногу, и пусть наконец он проводит меня. Иначе я просто-напросто околею.

Обручем калёным стало хватать поясницу, поползло колючками вдоль позвонков. Стукнули зубы, я поднял голову – и на какое-то время взяла меня оторопь. Не было ни дороги впереди, ни излома изгороди рядом, ни хоть слабого, но мерцанья над головой. Кругом – только густая погребная мгла. Будто накрыли меня шерстяным копаком.

Я вскочил, нашаривая ногами твердость на-топанной земли, сделал несколько шагов, сам не знаю куда. И ощутил – на волосы мне и брови, на кожу рук, которые вытягивал вперед, как слепой, оседает пахнущая тиной водяная пыль. Стало тут доходить до меня, что это накатывает с поймы речной туман.

Я бродил в киселе тумана, как лунатик. Трава, когда я оступался с тропы, опаляла холодом щиколотки. Меня сотрясала дрожь. И я снова подумал о Лине, но теперь совсем иначе – недобро. Сколько времени нет меня – значит, неспроста. Могла бы беспокоиться, вылезть из-под тёплого одеяла, знак подать. Ну хотя бы позвать громко, я бы услышал.

...В доме было тепло, тихо. Так тихо, что я даже немножечко чего-то струсил. Нашёл спички, огонь выхватил из черноты угла резную спинку с кеглями, их острые тени прыгали по стене, точно сдуваемые ветром. Лина спала.

Она спала! Дрянь! Лицо ее было умиротворенно, почти безмятежно, по крайней мере, мне так увиделось. Ей, наверное, снились лёгкие райские сны.

Печь загасла, но шершавые белёные бока ее были благостно горячи. Я прижался спиной, затылком, меня бил озноб – стоял, пока не зажгло лопатки. Мне казалось, я так намёрзся, что уж и не отогреюсь. Дрянь!..

Утром проснулся я первым. Повернувшись к Лине, я долго, пристально смотрел на нее. Она свернулась собачкой, грудки торчком, ладони в сомкнутых коленях. Веки ее трепетали в последних, отлетающих снах.

Я протянул воровато руку.

Ладонь моя скользнула привычным уже путём по тайникам ее тела. Молодого прекрасного тела, которым она всегда, в уединенную минуту, так легко и, я бы сказал, жертвенно одаряла меня. И по которому я уже по-настоящему тосковал. (Так, вероятно, тоскует алкоголик по похмельной рюмке. Метафора рискованная, но если не придирается, то не очень.)

Лина сладко вытянулась, откинула руку, глабоко вздохнула.

Ну не дрянь ли...

Больше терпеть я не мог.

В щели ставен пробивался свет. Серебряные нити рассеивали пахнущий сухими травами сумрак дома, высветляли в желтом вихре разбросанных по подушке волос ее зардевшееся лицо.

Она не спросила, где я был ночью, почему долго не возвращался. Вообще – не разомкнула губ и глаз не открыла, пока я эгоистично терзал ее. Только дыхание предательски сорвалось в короткий стон, и пальцы судорожно стиснули мой затылок...

Ровно в четыре я выбрался из кустарниковой аллеи, вошел в корпус.

В гардеробной мне велели разуться, выдали халат, большие матерчатые шлепанцы. Вслед за дежурной сестрой я поднялся на второй этаж. Коридор, покрытый голубым пластиком, блестел, точно застывший ручей. Я и шел по нему, как по льду, держа в руке в качестве спасательного средства свёрток с букетиком гвоздик.

Коридор был бесконечным, пахло карболкой.

Шарканье моих безразмерных шлёпанцев отставало от дробного, уверенного щёлканья каблучков. Встретилась пожилая санитарка с коляской, нагруженной тюком белья, потянуло откуда-то супом, где-то звякнул звонок. Мы миновали холл, весь в зарослях цветов, с круглым аквариумом, будто недрёманное око, и парой низких продавленных кресел. В одном из них сидел мужчина в спортивном синем трико, читал. Неужели здесь еще можно что-то читать? Что он читает?

Всё это я фиксировал машинально, подыскивая слова, которые сейчас скажу, которыми объясню свое появление. А может, сперва записку?.. Ну чего уж теперь об этом – поздно...

Щёлканье каблучков прервалось, сестра обернулась: «Подождите здесь», – скрылась за высокой белой дверью.

Не было ее минуты. И за эту минуту нервы мои совсем расхотелись. Я отошел к окну.

Стукнула за спиной дверь. Сестра заметила строго: «Большая с процедур, утомлена, постарайтесь не утруждать слишком».

Лину я нашел глазами сразу. Койка ее стояла у стены – прямо от входа.

Она полулежала на серых сплюснутых подушках, укрытая одеялом по пояс, в мятой олимпийке, коротко, до плеч, подстриженная, похудевшая, с легкой под глазами тенью. Но в общем изменилась мало. У меня на мгновение тихой ползучей болью защемило сердце: такой близкой и родной и в то же время такой отчужденной она увиделась мне среди этих белых глянцевых стен – не ожидал, не думал, не мог вообразить!..

В палате были еще две койки. Одна пустовала, а на другой, опустив на пол ноги, сидела пожилая женщина в толстых очках, вязала.

Пока я подходил, лицо Лины оставалось напряженным – не узнавала? Поодаль стоял единственный стул, я прихватил его за спинку, перенёс ближе к койке, сел. Я старался держаться как можно раскованнее – наверняка мне это плохо удавалось.

– Ну, здравствуй... – с усилием сказал я, развернул бумагу и положил на тумбочку рядом с изголовьем цветы.

– Господи, – выдохнула Лина, не сводя с меня глаз. – Сестра говорит: к вам пришли, у меня сразу: Женя вернулся! Почему, думаю, так

рано, что опять стряслось?.. А это ты... Невероятно... Откуда?

– Проездом, – сказал я.

Она продолжала вглядываться в меня, будто всё еще с трудом узнавала.

– Значит, всё ездешь?

– Да вот езжу. Работа.

– Всё такой же, – сказала Лина и вдруг улыбнулась растерянно, пригладила у виска жёлтую прядку. – А я волосы обрезала. Зря, правда?

– У тебя были великолепные волосы, – сказал я. – Но короткая причёска тебе тоже идёт.

– Зато хлопот никаких, особенно с мытьём, – как бы не соглашаясь со мной, заметила Лина.

Нет, всё же она похудела, а голос стал мягче, женственной, что ли? Как она жила эти шесть лет? Давно ли вышла замуж?

А спросил самое заурядное: как она себя чувствует.

– А всяко! С утра совсем ничего... А к вечеру... Да нет, чего там... Вот процедуры досаждают. Так ведь – на то и больница... Ой, цветы, – вдруг сказала, спохватилась она, беря гвоздички, – их бы в воду надо!

Женщина отложила вязание, взяла со стола графин.

– Я сейчас принесу.

– Спасибо, Анна Алексевна, – поблагодарила Лина.

Мы остались вдвоём...

Теперь, вблизи, в лице ее, в тенях глаз с трепещущими ресницами мне почудилась тщательно задавливаемая взволнованность, – или это оттого, что ушло напряжение первых минут?

– А ты как? Живёшь-то? – спросила она.

– Нормально.

– Семья?

– Дочке три годика, – сказал я.

– Ой, дочка. А у меня сын. Ждала девочку, да и врачи предсказывали, а оказался сын. Славный такой человечек. Жаль, ты не увидишь.

– Я видел его, – неожиданно даже для самого себя сказал я. – Встретились вчера в поезде, случайно, поверь.

Лина слегка побледнела.

– Как – встретились?.. Погоди, его в самом деле Женя вчера поездом повез к маме. Господи, невероятно, ты что, так вот и... узнал его?

– Иначе бы не сидел здесь.

– Неправда, ты не мог узнать... не должен был узнать – проговорила Лина жалобно, сразу

больно напомнив мне интонацией ту, прежнюю Лину, пришедшую когда-то ко мне в «гостинку» с обожженными плечами.

Вернулась Анна Алексеевна с графином воды, налила в бутылку из-под кефира, поставила на тумбочку. Лина стала проталкивать цветок за цветком в бутылку, стебли в горлышко плохо попадали, ломались. Соседка снова вышла, уже без всякого предлога, мы оба проводили ее молчаливыми взглядами. Вода в бутылке светилась, отбрасывая игольчатые блики. И тогда я спросил:

– Лина, почему ты не сказала?

Она осторожно поправила одну гвоздичку, перевела на меня взгляд:

– Что я должна была сказать?

– Ты же прекрасно понимаешь – что.

– Нет, не понимаю.

– Лина, я же видел его своими глазами.

– Ну и что?

– Да ты погоди – как «что»?

– Вот именно.

Разговор зашёл в тупик. Я замолчал.

Она протянула над головой обе руки, ухватилась за ободок кроватной спинки, морщась подтянулась – никак, видно, не могла найти выблевшему телу удобного положения. Под распахнувшимся воротом засветился уголок бинта.

Эта слабая гримаса боли, которую она не сумела скрыть, и этот уголок бинта, перетянувшего грудь, вдруг напомнили мне безжалостно-грубую реальность обстановки. Острой жалостью, и виной, и непоправимостью сжало сердце. К чему затеял я этот разговор – запоздалый, бессмысленный, продиктованный разве что моим уязвлённым самолюбием, чем же еще?

– Ну зачем бы я тебе сказала? – Лина смотрела уже твердым, открытым взглядом, руки ее лежали вдоль одеяла. – Ты был так уступчив. Я думала, это от любви... а это от бесхарактерности... И ты бы остался. Из-за ребёнка. Сделал бы одолжение. Пойми, что бы это за жизнь была?.. А сейчас я счастлива... любима.

«Счастлива... любима...». Да где мы, чёрт побери, находимся?!

Теперь я видел отчетливо: она утомлена, дышит сквозь полураскрытые спёкшиеся губы. Розовые пятна на скулах. Надо прощаться, уходить. Но я никак не мог решиться. Я спросил:

– А ты... любишь его?

– Да, но совсем по-другому! – быстро произнесла она, и я опять с запозданием понял, внутренне напрягшись: ждала, не хотела этого моего вопроса, а я, чурбан... – Женя мой – прекрасный человек, сердечный, умный. Мне с ним тепло. Шурик зовёт его папой, они большие друзья.

Глаза ее влажно заблестели, но она справилась с собой:

– Как зовут дочку-то?

– Дашенька.

– Ой, молодцы. А я поддалась моде. Сашек сейчас – пруд пруди... Хотела бы взглянуть на твою Дашеньку...

Я подумал: спросит сейчас про жену, но она не спросила, и я в душе был благодарен ей за это.

Помолчали.

– А Шурик что – не ходит в садик? – спросил я.

– Ходил зиму, а сейчас у них там вдруг с чего-то ремонт затеяли, куда его? Ну, Женя предложил – давай к маме...

Поговорили еще о чем-то – незначительном, случайном.

– Лина, – решил наконец я, – мне пора, у вас тут порядки необыкновенно суровые.

Она слабо и как-то напряжённо кивнула, смежив на мгновение ресницы. Склонившись, я взял в ладони ее лицо, не удержался, стал целовать – глаза, волосы, которые когда-то напоминали мне цвет луковой шелухи.

И тут нервы ее сдали. Она заплакала, тяжело, навзрыд, сквозь спазмы. Ее точно прорвало:

– Зачем ты... Зачем ты пришел? Чего тебе от меня?.. Шесть лет ни письма, ни звука. Ты умер, понимаешь? Исчез, растворился, тебя не существует... не должно существовать!..

Ее лихорадило, руки цеплялись за мои склоненные плечи, за шею, одновременно отталкивая, а сам я падал в пропасть.

– Господи, кому понадобилась ваша невероятная встреча в поезде! Перед кем я еще провинилась?.. Если бы я не родила, я бы давно... понимаешь?.. Сашенька меня спас... Это чудо, что я его тогда почувствовала...

Она задохнулась, замолчала. Потом:

– Я ушла из общежития, сняла комнатку в частном доме, спряталась от всех. Первое время, пока не родился Саша, со мной творилось необъяснимое, чертовщина какая-то. Дом оказался с домовым. Исчезали прямо из-под рук мелкие вещи. Среди ночи сама собой вспыхивала и гасла настольная лампа. Как-то утром обна-

ружила на подоконнике твое выцарапанное имя. Возненавидела часы-будильник, на ночь упрятывала под матрац – они грохотали...

Постепенно она затихла, выплеснулась.

Ладони ее соскользнули с моих онемевших от напряжения плеч.

Я встал, она тоже – приподнялась на локоть, сжимая у горла распахивающийся ворот куртки, прощаясь.

...Я вышел на крыльцо, остановился, торопиться теперь было некуда. Поезд мой ушёл, следующий будет только завтра, после полудня, если достану билет. Ну и чёрт с ним – ушёл!

Тонкой болью покалывало затылок, я присел на ступеньку с ужасающим ощущением опустошённости, крепко зажмурился.

Солнце падало к горизонту, красновато слепило сквозь веки.

Неужели, думал я, нужны годы, потрясения, подобные пережитому мной вчера в поезде и тут вот, в больничной палате, чтобы понять то, что должно быть понято сразу, с самого начала. Или уж оставалось бы непонятым до жизненного конца...

И еще ночь провёл я на вокзале, а утром с гудящей головой снова отправился в больничный городок.

Я дождался, когда возле справочного окошка никого не будет, подошёл. Поздоровавшись, спросил, как прошла свадьба.

Оля узнала меня, улыбнулась полненькими губками, глаза красные, невыспавшиеся, – таким наверно выглядел со стороны и я.

– На уровне мировых, – сказала она. – Подарили молодым столовый сервиз из сорока восьми предметов!

– Ого, зачем так много, особенно молодым?

– Дареного много не бывает, – засмеялась быстрая на язык Оля и привычным движением прикоснулась несколько раз к причёске, хотя та уже не имела вчерашнего праздничного вида – свадьба свое взяла. – А как чувствует себя ваша знакомая, виделись?

– Да, Олечка, спасибо вам. Теперь я ваш вечный должник. Но у меня еще просьба, последняя. – Я достал из баула плитку шоколада. Под обертку с одной стороны подсунил я деньги, а с другой – заранее написанную бумажку. – Здесь, – сказал я, – мой адрес и для памяти – имя моей

знакомой, отделение, палата... Олечка, если с ней что-то вдруг случится, станет плохо... совсем, вы понимаете? Прошу, отбейте телеграмму. Из одного слова, ну, скажем: «приезжай». Обещаете? Приезжай, и все. Мне не к кому здесь больше обратиться.

Оля пошевелила бровками, покосилась на плитку.

– Только заберите это!

– Виноват, не подумал, хотел как лучше. Тогда угостите подруг.

– А если нет? – спросила Оля.

– Что – нет?

– Если всё будет хорошо. Сейчас оттуда многие выходят.

– Тогда прекрасно. Тогда никакой телеграммы, и я буду знать, что...

– Нет уж, чего захотели. Если всё хорошо, я отобью на всю вашу сумму. Будете тогда знать! Вот!

– Вы молодец, Оля. Впрочем, я уже повторяюсь. Правда, буду ждать длинную телеграмму. Обязательно длинную.

После полудня разбитый двумя бессонными ночами я сидел в поезде, в общем вагоне. Место мое было у окна, возле самого входа. Когда открывалась дверь, из тамбура гулом врвался стук колес, звяканье сцепки, волной проходил мимо воздух.

А за окном проносился тот же полустепной сибирский пейзаж, что и два дня назад, – игристые ленты сквозных перелесков, кругляши солончаковых озер, просёлочные безымянные загадочные дороги в никуда, одиноко пылящие, точно заблудившиеся, грузовички.

И всё тот же долгий, многочасовой безостановочный перегон...

Телеграмма пришла через полтора месяца, в ней стояло не одно слово, а два: «Приезжайте скорей». Я был внутренне готов, кажется, к этому, но всё равно – телеграмма меня ошеломила.

Погода на этот раз была пасмурной. Накануне пролил дождь, площадка перед седьмым корпусом морщилась холодной рябью луж. Грива кустов вокруг отяжелела, кое-где слабо пробивалась янтарем, и стволы тополей налились влажной сочащейся чернотой.

В палату меня не пустили. Я понял: там Лины уже нет, куда-то переведена.

Я стоял на крыльце корпуса, не знал, что же делать, в полной душевной подавленности. Рев авиационных двигателей, толчея аэропортовых очередей, нервотрепка летнего воздушного пути – всё это еще не остыло во мне, гудело и словно подталкивало к действию – куда-то бежать, что-то предпринять...

Возле колодца двое рабочих звякали инструментом, налаживали мотопомпу, деловито поругиваясь. По бумажной обертке от мороженого ползала запоздалая оса. Ветер завихрялся вокруг урны, двигал со скрипом бумажку, оса взлетала и снова упрямо садилась – жалкая жертва даровых сладостей.

Вдруг вижу: по ступенькам подымается мужчина. Смуглый лоб, широко расставленные глаза, в лице выражение сосредоточенности.

Я, конечно же, узнал его.

Он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. В руке сетка с большим, неумело свернутым кульком из газеты. Кулек раскачивался при каждом шаге, вертелся, ударял по плащу.

Я медленно пересек асфальтированный мокрый двор, свернул в аллею.

Вот и скамья из узких крашенных реек. Рейки вылиняли, кое-где облупились – солнце и дожди делали свое дело. Неужто прошло только шесть недель? Если, как тогда, присесть на скамью, видны будут окна с широкими синеватыми фрамугами, третий и четвертый этажи, а второго этажа только половинка.

Как быстро тянутся вверх молодые тополя, но и их уже коснулся август! Несколько крупных листьев то там, то тут обвяли, зачернели прожилками, в которых остановился сок, обведены тленом, хотя кроны при общем взгляде – еще в густой, зрелой зелени и до листопада далеко.

Застучала, зафыркала нервно мотопомпа – заглохла. В тишине дробно щелкнули по листе, по моей склонённой спине, запузырились в лужах капли начавшегося дождя.

Я не заметил, как он вышел из дверей, спустился по ступеням на площадку. В сетке по-прежнему болтался газетный кулёк. Взгляд его блуждал, а лицо остановилось в гримасе такого потрясающего горя, что казалось – сейчас он, в дожде и слякоти, упадёт на колени перед любимым встречным, умоляя о помощи. Глядеть на него было тяжело. Я невольно отвёл глаза.

Он прошёл в стороне, шаркающие шаги удалялись в глухую, безлюдную глубину аллеи.

Я зря боялся встретиться с ним глазами, он никого не видел.

Он остановился под тополем, ткнулся головой в ствол. Потемневшие от дождя плечи его, спина затряслись. Из сетки, из разорванного намокшего кулька посыпалась на землю чёрная сверкающая ягода – смородина.

...С тех пор утекли годы и годы.

Иногда за гостевым домашним столом или на званом обеде, которого я по своему нынешнему положению достаиваюсь нередко, – пользуясь моментом, наливаю себе шампанского, бросаю туда шоколадку, смотрю, как, густо серебрясь, шоколадка качается из стороны в сторону, подскакивает, пытаюсь всплыть, а потом ложится на дно и затихает. Будто живая.

«Неужели это всё, что осталось от молодости? – всякий раз потрясённо думаю я. – От того благословенного времени, когда мы еще бездумно и легко, и безгрешно смеёмся выстрадавшей не нами истине, утверждающей, что любовные радости коротки, а страдания вечны...».

